

Генри Лайон Олди

# Опустите мне веки, или День всех отверженных



*Часть сборника  
Песни Петера Сълядека  
(сборник)*



Хёнингский цикл

Генри Олди

**Опустите мне веки, или  
День всех отверженных**

«Автор»

2003

**Олди Г. Л.**

Опустите мне веки, или День всех отверженных / Г. Л. Олди —  
«Автор», 2003 — (Хёнингский цикл)

«Седой Явтух подкрутил вислый ус. Слеза, грузная и мутная, как четверть  
Одаркиного первака, вытекла из козацкого глаза.— Ведьма! Истинный крест,  
ведьма! Какого хлопца сгубила, капость хвостастая... Бурсак, хвильозоп,  
в духовных книжках всяку всячину чище дьяка вычитывал! А как плясал!  
Бывало, зачнет с рассвета трепака драть, и до полудня чешет! важно!  
Помянем душу его, паны-браты!..»

© Олди Г. Л., 2003

© Автор, 2003

# Генри Лайон Олди

## Опустите мне веки

### или

## День всех отверженных

*«... Образу же Касьяна Глазника, иначе Костян Остудный, не быть во храме на видном месте, а токмо над дверью, дабы входить, не глядя на оный, но кланяться уже по выходу. Лик сей богомазам отведено малевать грозным, черным, навроде копченого железа, с веками до колен, каковыя ему самому не поднять, ибо на что глянет – всё вянет; в руках дано держать две каленые кочерги. Касьянов год – високосный, месяц – лютый, сечень, иначе февруарий; день редкий, двадцать девятый. Работать в таковой день грешно, до полудня и вовсе сиди в избе, помалкивай. Оттого Глазника, немилостивца злопамятного, три четверга в тайный черед молебнами празднуют: на седмицкой, на масленой и на святой Троице...»*

**Ксенофонт Могила, «Приложение торжественных, похвальных и поучительных слов к своду „Четьи – Минеи“ свт. Димитрия Ростовского»**

*Глаза зарастают снами.*

*Ослепла.*

*Поблекла.*

*Кто движется вместе с нами*

*Из пепла?*

*Из пекла?*

**Ниру Бобовай**

– Від понеділка до понеділка

Выпьем, куме, – добра горілка!..

Седой Явтух подкрутил вислый ус.

Слеза, грузная и мутная, как четверть Одаркиного первака, вытекла из козацкого глаза.

– Ведьма! Истинный крест, ведьма! Какого хлопца сгубила, капость хвостаая... Бурсак, хвильозоп, в духовных книжках всяку всячину чище дьяка вычитывал! А как плясал! Бывало, зачнет с рассвета трепака драть, и до полудня чешет! важно! Помянем душу его, паны-браты!

Был козак стар, дебил, более напоминая жбан с пряженым молоком, коим, впрочем, брезговал, предпочитая горелку любым коровьим вытребенькам. Прозвище же свое – Ковтун – оправдывал с лихвой, *ковтая*, например, кружку ядреной перцовки с ловкостью жабы, ухватившей языком гнуса.

А стрючком огненным закусывал, сатана.

– Помянем! Хай ему боженька клецок наварит! – дружно откликнулось козацтво, состоявшее, помимо Явтуха, из четырех почтенных и сильно озабоченных хмелем персон. Не отказался от поминальной чарки и отец Оноприй, батюшка из Воскресенского прихода, отпевавший небогу-бурсака, а также верный спутник его, дьячок Цилюрик, имя-отчество которого знали все, ибо был дьяк чрезвычайно на этот счет словоохотлив – да как-то забывалось. Трое земляков «клятой ведьмы», а именно жители Склярова хутора Иван Голод, Михайло Дрыга и Тарас Прикуситебень, внятно крикнули, добавив и свой голос в общий котел панихиды.

Вся троица являла собой истинный пример сострадания ближнему, отрекаясь от гнусных дел ведьмы. Пускай даже обитает чертовка бок-о-бок с честными христианами, – но нет, не найти ей сочувствия в сердцах, опаленных скорбью и пенником, гнатым на калган!

А на дворе, в саване из тихого снега, отлетала в рай матушка-зима. Ходи кругом, ходи вприсядку, ходи в последний раз ты, друг лживый, месяц лютый, високосный. Завивай веревочкой несуразный, двадцать девятый, ни на что, кроме похорон, не годный день....

– Продаймо, куме, ляху за сорок,  
Выпьем, куме, ще й у вівторок!

Уроженец Ополя, Петер Сьядек с легкостью разумел местный говор: густо плетеный из разноязыких нитей «суржик», как в здешних краях звали смесь пшеницы с рожью. Еще мальчонкой, странствуя с лирником, дядькой Войтушем, не раз, не два забредал на Левобережье, добираясь до слободских земель; правда, было это давно. Зато пальцы, с лету вспомнив дела минувших дней, гоголем ходили по струнам. Лютня давала жару, вторя слепцу-кобзарю: деду склочному, вредному, зыркавшему бельмами в адрес незваного помощника. «Хуже татарина! – выражала опухшая от тягот внешность кобзаря, утомленная солнцем и вишневкой. – Ой, хуже, натяни ему чорт пуп на лоб! Сбренчит на грошик, хапнет червонец!» Но перечить грозной шинкарке, личным универсалом велевшей обоим петь купно, дед не смел. Разве что, хоть под «слезницу», хоть под «закаблуки», молча костерил наглеца в три дуги.

И подлаживаться не желал, оставляя эту работу конкуренту.

А Петер сейчас любил весь белый свет. Дайте волю, с небом расцеловался бы! Горло лихо булькало песней, намекая на возможность – да что там! необходимость! явную обязательность!!! – по окончании sprysnutи его, натруженное горло, доброй порцией варенухи. «А что? – рассуждал музыкант, преодолевая некоторое затруднение в голове, рожденное, должно быть, сочетанием тризны и гопака, какой взялся отплясывать загрустивший Явтух на пару с шинкаркой Одаркой Сокочихой. – Разве я не козак? Разве не этот?.. как там бес его мамку? Харзызяка?! Нет, иначе... Лысый дидько? А почему он лысый?.. вот Явтух, считай, лысый, а пляшет... славно пляшет!..»

Здесь нить размышлений обычно рвалась. Оставляя по себе лишь уверенность в чем-то большом, светлом, превосходным манером сочетавшемся с пенной кружкой.

В Харьков Сьядека занесло на переломе зимы. Городок это был мелкий, но живучий, основанный полвека назад переселенцами из Заднепровья – сорви-головами осадчего Ивана Харкача, устроившего кругом городища ограду земляную и деревянную. Рос младенец, как на дрожжах, скоренько обзаводясь народом: выборные козаки, козацкие подпомощники и подсоседки, полковая старшина с работниками, посполитые селяне, духовенство, ученики латинского коллегиума, цеховые ремесленники – кузнецы, солодовники, котляры, шаповалы, рымари и коцари... Даже два купца-грека имелись про запас, для вящей славы. Тыщи четыре народу, не сглазить бы; а баб с девками и вовсе маком сыпано. Кстати, на радость Сьядеку, музыканты здесь тоже считались не захребетниками-дармоедами, но честными ремесленниками, ибо «на свадьбах играют, кормясь ремеслом». Словно у нерадивой хозяйки, опара слобод Ключковской, Лопанской и Чугаевой набухала куполами церквей, выпячивалась крестами Покровского монастыря, переваливаясь через край, сбегала по холмам да оврагам хуторами-подварками – Чайкин, Свистуненков, Шугай, Москалевка, разнесенные безо всякого плана версты на три-четыре друг от дружки...

Собственно, на Москалевском хуторе Петер и нашел себе пристанище. Смазливая, разбитная вдовушка Горпина рада была приютить гостя в хате, быстро дав окорот злым языкам соседок. Горпину здесь полагали сугубой ведьмой, загодя сообщив постояльцу: жизни тебе, человеке, осталось пустяк с хреном, заездит тебя стерва, а не заездит, так кровушку через пояс

выдоит, а не выдоит, так силу мужскую в узел завяжет, девки смеяться зачнут! К счастью, бродяга вовремя уяснил: ведьмой тут слывет каждая вторая баба. Что отнюдь не мешает им на светлой заутрене дружно собираться в церкви, креститься «на все боки» и чмокать ручку попу.

Наверное, злополучный бурсак, столь рьяно поминаемый ныне в шинке, тоже скончался от какой-никакой хворобы. А Скларовская ведьма, обвиняемая в смерти хлопца, сейчас, небось, рыдает от несправедливой обиды, ткнувшись белым лицом в рушник. Или заигрывает с чернобровым парубком, забыв, как и звали-то покойника.

– Петро! Бандурист ты мой ясный! Дай расцелую!

Спирид Еноха, товарищ занятого гопаком Явтуха, смачно облобызал «ясного бандуриста». Аж в ухе зазвенело. Затем Спирид утерся, хватил шапкой оземь, растоптал головной убор каблуками и подхватил не в лад:

– Наша горілка краща від меду,  
Випьем, куме, ще й у середу!

Вторая разгулявшемуся не на шутку козаку, Петер смеялся, вспоминая, как суеверная Горпина утром отговаривала его идти в шинок на заработки. «Дурной день, – наклоняясь к музыканту, в одной сорочке, чрезвычайно соблазнительная со сдобными плечами своими и пышной грудью, вдовушка для убедительности щекотала Сьядека распушенными волосами. – Нынче, раз в четыре года, святого Костяна Остудного из земли гулять выводят! До полудня велено честным людям в хате сидеть, никакой работы не творить... Костян глянет – попы не отчитают, бабки не отшепчут... Уймись, дурень! Ишь, каков ты сладкий...» Сама же, впрочем, наскоро утешась с разомлевшим бродягой, позже оделась, убрала волосы под очипок и ушла, да так незаметно, будто в трубу на ухвате вылетела. Сьядек скучал, кутаясь на печи в теплую, ватную дрему, а там плюнул, взял лютню и отправился в шинок.

«И чего сей месяц лютым прозвали? – размышлял он, минуя стайку хат-мазанок, огороженных плетнями, а кое-где и высокими, дощатыми тынами. – Снежок мягко стелет, ветра нет. Солнышко ясное, тепло; кожух нараспашку. Весна скоро... Славная баба Горпина, счастья ей полные руки. Век бы жил. А что ночами на двор часто бегает и подолгу не возвращается – это пустяки. Может, чревом хворает. Опять же молочное в хате не переводится, хотя коровы у вдовы нету. Небось, добрые люди приносят, пока я в шинке играю. Остаться, что ли? Детишек нарожаем...»

Мысли были легкие и брехливые. Нигде он не останется, никого не нарожает.

Весна и впрямь скоро. А где весна, там и дорога...

Черные ивы-горемыки маячили на круче, усеяны галдящим вороньем. От грая ломило в затылке. Сугробы на обочине блестели ярче краковского фейерверка, высверкивая хрусталем. В небесах местами, румянцем на девичьих щеках, пробивалась та нежная, влюбленная прозрачность, что лишь изредка озадачивает конец зимы, не дождавшись баловня-марта; в воздухе пахло надрезанным огурцом и проказами. Укатанный снег скрипел под сапогами. Большая дорога за околицей двоилась, словно во хмелю, левым краем сворачивая к Одаркиному шинку, а правым, изрезанным полозьями саней, – мимо мельницы к Шустряченкову хутору. За хатами торчал на горе зуб Ивановой звонницы, близ монастыря. Обогнув старую, дуплистую вербу, Петер двинулся дальше, насвистывая «Сладчайшую Лауру» итальянца Каррозо, но вскоре свистать бросил, потому как поравнялся с цвинтарем. На кладбище кого-то хоронили: тихо, деловито, без воплей, рыданий и выяснений, на кого усопший всех покинул. Темнел свежий провал могилы, гулко басил поп; затем фистулой взлетел козлий голосок дьяка. Вспомнив слова Горпины, лютнист ускорил шаг. Но день был настолько чудесен, а похороны – обыденны и незамысловаты, что сердце быстро успокоилось: все там будем, кто раньше, кто позже.

Царство тебе небесное, братец-покойник!

Будь другом, займи бродяге местечко поближе к арфам...

Не прошло и часа, как Петера схватило-завертело. Свара с кобзарем, вмешательство Одарки, благоволившей к скромному тихоне-музыканту, толпа гостей, обуянных желанием всласть помянуть небогу, кружка горелки, отказаться – значит потерять голову, ибо молчаливый козак Дорош взялся за черен сабли, «Ричеркар» Негрино, мрачный и скорбный, тяжкая поступь басов, рыданья верхнего голоса; «Знатно! Важный немец! До самых печенок!..» – плакал разомлелый Явтух, вторая кружка, с полугарником, свиные уши густо сдобрены чесноком, чарка терновой, запить пивом, пиво горькое, крепкое, туда уже что-то влил Спирид, хохочет, дьявол, а в глазах – страх и печаль, сталь надломленная, щербатая, взор козацкий ужасен, сердце ёкает, поп басит отходную, надо подхватить, кобзарь опоздал, нет, вступил наконец, попа заглушает Спирид, «Ой, в Царьграде на рынке... несет Галя воду!..», а Дорош все молчит и пьет, а ведьма сглазила бурсака летом, в жару, в самое пекло, «Ой, барвинок кучерявый!..», хлебнуть полынной, заесть галушкой, в семинарии были вакансии, и бурсак шел через хутор, на вольные хлеба...

– Бросаймо, куме, всяку работу,  
Выпьем, куме, ще й у субботу!

История трагического сглаза тонула во хмелю и песнях.

За время странствий обвыкнув слушать чужие повести, Сьядек на миг трезвел, когда к нему подсаживался один из козаков или хуторян. Все хотели поделиться жуткой былью с единственным посторонним, чужим человеком. Всех переполнял сладкий ужас. Первая красавица меж хуторянок, скромница Ганнуся, оказалась завзятой ведьмой.

«И можно ль было знать заранее? – нет, никак не можно!»

Жила тихо, смиренно, с матерью и баткой, хромым калеккой; в хате бедно, но чистенько, каждому усмехнется, да так приветливо, ровно на святую Пасху похристосовались. Сватался к Ганнусе богатый старик, то ли сотник, то ли сам полковник, прельстясь красой девичьей, – червонцы под белые ноги сыпал, шелка стелил. Нет, отказала; поднесла гарбуза. Дескать, гроши – пустое; хочу любви сердечной, а древняя страсть – дикая. Вскоре видели Иван Голод с Михайлой Дрыгой, как усмехнулась Ганна молодому бурсаку: спросил водицы, вот и поднесла с усмешкой. Слово за слово, перемигнулся парубок с дивчиной, духовное спел, краюху хлеба в мешок кинул и убрел восвояси. Зато осенью ехал мимо Явтух Ковтун, сел в шинке дух горелкой перевести.

«Бурсака помните, добродии? – хворает...»

Лекари бровью моргают, знахарки крестятся: сглазили хлопца. След вынули, гвоздь вбили, а может, косицу заговоренную на порчу свили. Не иначе, Ганнуся расстаралась, больше некому. Хлопец-то дальний родич того самого сотника или полковника! Зачем? на кой?! – полно вздор молоть! Ведьмам наимилейшее дело: честную душу под землю спровадить. Старика гарбузом опозорить, а молодого в могилу свести. Хутор большой, народ зоркий, говорливый: нашлись свидетели, видели, как девка по ночам из трубы летает. Бабы у колодца судачат: коровы захирели, кровью доятся. И в известную сторону косятся. Бабы, не коровы. За спиной кукиши крутят. Ближе к зиме козак Дорош, молчун, в шинке сидел. Такого намолчал, сучий сын, что хоть стой, хоть в домовину ложись! Бурсак, выходит, совсем плох. Средь бела дня бредит:

«Ганнуся! – молит, – рыбонька! Сердце мое! Отпусти душу!..»

Дальше-больше, в конце лютого месяца возьми бурсак и объявись на Склярском хуторе. Бледен, замучен. У знакомой хаты пал ниц и плачет. До самой темноты рыдал, словно безумный; звали в хату – не дозволялись. Утром нашли его, мертвого. Синий, холодный, и шея набок;

чистый тебе удушенник. Не иначе, ведьма задушила. Свиньей обернулась, на спину прыг! Или скакала по холмам-оврагам, пока хребет не рухнул.

«...помянем невинную душу!..»

Петер содрогнулся. Выпил еще, для храбрости. Плох лютнист, если руки дрожат. Узрелось чудное: он в хату, а свинья-Горпина ему на загривок лезет, кататься. В шинке стало много дверей, из каждой шел танцующий Явтух, мотая седым чубом, шинкарка Одарка сделалась маркграфом Зигфридом, но кувыркнулась через стол, став кудлатым фавном в очипке со свечами. Из-под лавок лезли чертенята в тулупах, норовили сморкнуться в кашу. Разве я не козак? Разве не пойду домой?! Вот возьму и пойду! – ночью, в метель, топча дрянных чертей сапогами...

– Ой, божечки! Ганна, ведьма злая, руки на себя наложить вздумала! Еле у проруби словили: отбивалась, как скаженная! Сейчас в хате держат... мать все веревки попрятала, и кушаки, и рушники!..

Толстая баба пыхтела, выплевывая новость; на голове бабы Сьядек ясно увидел рога.

– Петро! Эй, бандурист! Куды идешь?

– Разве я не коза..?

– Коза, коза... Спирид, пусти хлопца. Мабуть, до ветру...

Погода на дворе стояла мало что не рождественская. Из распоротой перины неба торжественно и величаво сыпался белый пух. Не валил хлопьями, не сек злой крупой – снежинки падали с важностью, как листья с осенних дубов. В прорехи моргали звезды; вот и месяц серебряным грошиком из-за туч выкатился, освещая дорогу. Да какой там месяц! – ясная луна, полная, необгрызенная ничуть. Уютно светились оконца шинка, далеко, в слободках, лениво брехали собаки. Мороз царил легкий, смешной, а после хорошо натопленного шинка и выпитой горелки – гуляй, душа! Кожух нараспашку, шапка набекрень. Петер самую малость обождал, держась за плетень, гаркнул молодецки и решительно окунулся в ночь.

Горпина, стели постель! Скоро буду!

Сапоги бодро загребали рыхлый снег. Если б еще чортова дорога не вихлялась под ногами, норовя встать на дыбы! Кто ж такую проложил? Не иначе, спьяну! Домой, домой... в хате Горпина ждет, там... там... та-ра-ра-там, та-ра-ра-ти-ди, ти-ди-ти-ди, ти-ди-таммм... Мурлыча вольную импровизацию, бродяга добрался до знакомой развилки. Теперь прямо, а за пригорком с корявой вербой, похожей на торчашую из земли пятерню, возьмем наискось. Мимо цвинтаря... А что нам цвинтарь? Или козак Петро мертвяков боится? Натевкусите! Мертвяки в гробах лежат, никого не трогают. Ещё мы, козаки, на них в Царьград летаем. С удовольствием воображая полет верхом на покойнике, Сьядек миновал вербу-руку, тянувшуюся к небу; лихо срезал угол по снежной целине. Идти сразу стало легче и тяжелее. Скажете, не бывает? Ноги в снегу вязнут – это да, оно конечно; зато дорога протрезвела, улеглась спать, и деревья навстречу не бросаются, кружа голову.

В заросли кладбищенских крестов он угодил без предупреждения. Брел чистым полем, и вдруг нате-подвиньтесь – могилы, укрытые белыми саванами, хмурые кресты, сугробья... тьфу ты, пропасть! – надгробья в снежных шапках. Косятся без одобрения, режут зимний творог острыми ножами теней. Шепчутся меж собой. Петер замер, прислушался. Нет, ерунда. Чудится от усталости. Сейчас погост минует; считай, полдороги есть. Дальше под горку, ноги сами понесут, раз-два – Москалевка. Горпина ругаться будет, но в хату пустит, она добрая. Хата не могила, баба не домовина: шишел-мышел, вошел-вышел...

Эта могила была наособицу. Свежая, дышит паром; земля рыхлая, черная, снегом едва припорошена. Тает снег на холмике, что ли? Кругом белым-бело, а тут – все не как у людей. «Э-э, видать, здесь наш бурсак лежит! – догадался Петер. – Что ж это выходит? Всем я, значит, играл, ел-пил на поминках – а покойника не уважил? Нехорошо, однако, некрасиво...»



Идея уважить покойника музыкой выглядела чрезвычайно заманчивой. Даже лучше полета в Царьград. Сьядек уселся на край холмика, расчехлил лютню. Задумчиво подкрутил колки, настраивая. Без особого смысла глянул в небо. Драгоценный грош луны сверкнул в ответ: давай, мол, я тоже послушаю. Рядом присела трезвая, здравая мысль: «Рехнулся?! Вставай, дурень!..» – у мысли был приятный, душевный голос Горпины, но бродяга погнал упрямицу взащей.

Не видишь: для хорошего человека играю. Понимать надо!

– Я плыву на корабле,  
Моя леди,  
Сам я бел, а конь мой блед,  
То есть бледен,  
А в руке моей коса  
Непременно,  
Ах создали небеса  
Джентльмена...

«Тихая баллада» сама подвернулась на язык. Печальные аккорды робко двинулись по цвинтарю, натываясь на кресты, но мало-помалу окрепли, взметнулись к луне траурным «Реквиемом»; пьяные слезы выступили на глазах Петера. Тоска гадюкой вилась в сердце. Тоску Сьядек не любил, но куда деваться? Не «Гопака» же покойнику играть? Или про горелку, которую надо хлестать целую неделю без продыху... А, собственно, почему бы и нет?! В домовине грустно, одиноко, так грех ли развеселить горемыку?

– Даваймо, куме, выпьем тут,  
Бо на том свете нам не дадут!..

Взвилась завирухой плясовая над оторопевшими могилами! Петер Сьядек кого хошь на ноги подымет! Эй, покойнички, айда танцевать?! Могила заворочалась косматым псом, спросонья отряхивая редкий снег. Зашуршали мерзлые комья земли. Вот, значит, почему на ней снега нету! Вставай, милоч, спляшем! Петер, он такой, он кого хошь...

– ...добра горілка!..

В следующий миг хмель испуганно съежился, а пальцы примерзли к струнам. Тишина. Жуткая, кладбищенская. Лишь финальный, заплутавший отзвук лютни потерянно тает меж крестов. И – шорох. Шорох осыпи. Ага, сучий сын! доплясался? доигрался? Накликал?! Бес-силен шевельнуться, осквернитель цвинтаря замороженно наблюдал, как содрогается в родовых муках весь могильный холм, раздается в стороны, исподволь теряя форму... Мертвец! Там – неупокоенный мертвец! Пальцы судорожно нашарили на груди кипарисовый крестик, вцепились, как в последнюю надежду...

Земля! Свежая земля с могилы!

Горпина уверяла: если ее съесть – упырь не тронет.

Сьядек повалился на колени, пытаясь запустить пятерню в могильный холм. Как бы не так! Земля только с виду казалась рыхлой. А на самом деле – мерзлые комья. С трудом удалось растереть один в ладонях. Сунул добычу в рот: чуть не стошнило, но Петер пересилил себя, заставил проглотить, потянулся за другим комком... Навстречу из-под земли сунулась грязная рука с плоскими, щербатыми ногтями. В лунном свете рука отливала металлом. Вопль застрял в глотке вместе с недожеванным грунтом. Помутилось в голове. Кажется, он пытался

отползти в сторону, но лишь сучил ватными ногами. А из могилы уже выбирался мертвец! Черный, страшный, курящийся паром, лицо из железа ковано: ржавое, одутловатое. С явственным скрипом поползли вверх чудовищно длинные веки. Мертвец отдирал их от щек с заметным усилием, храпел загнанной клячей...

Петер сунулся лбом в край холма. Укусил ближайший ком, стараясь быстро прожевать.

– ...ты ш-шо... ш-шо творишшшшшш?.. Г-голодный?

– У-у! – замотал головой несчастный лютнист, давясь горькой дрянью. – Не трожь меня! Я землю ем!

– З-за... з-зачем?

Голос у мертвеца тоже был изъеден ржой, подстать лицу.

– Чтоб ты меня не тронул! – взвыл бродяга, удивляясь покойницкой бестолковости. Осев себя крестом, он отважился глянуть на восставшего мертвеца: тот, трудно моргая, паялился в ответ. Потом тоже перекрестился (Сьядека чуть родимчик не хватил!) и спросил, отвернув дикую харю:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.